

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б43

Белоед, Игорь.
Б43 Не, ни / Игорь Белоед. — Москва : Эксмо, 2025. —
224 с.

ISBN 978-5-04-207027-3

2018 год. В доме на Хитровке есть только он и она. Их связь из двух голосов становится рекой памяти, превращающей время и место в зыбкие условности. Так протекает их жизнь — от Италии до Москвы, от Москвы к Израилю и наоборот, стирая чувства. Он продолжает любить, она — отворачивается, пока не обрушивается трагедия, разделившая жизнь на «до» и «после». И тогда голоса живых становятся голосами мертвых...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-207027-3

© Белоед И., 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

И ничего не останется в памяти, откуда бы ты ни шел, куда бы ни приезжал, ты не вспомнишь даже раковину со сливом, в которую плакал, когда расставался с домом, и пенилась губка, и кожа истончалась почти до костей, и пальцы щипало так же, как глаза, и смеситель рвало, и казалось, что пар, исходящий из раковины, заполонит всю кухню, и ты окажешься в хамаме, где года четыре назад, до вашего с ней воскресения тер ей спину, опуская расстегнутый сверху купальник, мят сморщенные стопы, а кафель — охрово-сдержанный — прело говорил с вами, стеклянная дверь была приоткрыта на два пальца, и иногда с шипением из зарешеченного провала под кафельной скамьей напротив поднимался горячий пар, и люди, сидевшие там, — правда, в этот раз воспоминания их не было, — поднимали, почувствовав жар, ноги, и нелепые, будто испугавшиеся обожженной земли, восседали на скамьях в банных шапках, весело переглядывались, если были не одиноки, или же сосредоточенно обнимали колени мокрыми волосистыми руками и что-то беззвучное цедили сквозь зубы; в бассейне мы прятались за околосточным

столбом, вставали на неровность, отделявшую глубокую среднюю дорожку от первой, мелкой, и от сходивших в нее ступеней короткой, ты хватала меня за шею, взбиралась на плечи, пока я, задержав дыхание, вытянувшись приготовившейся к прыжку лягушкой, не опускался на дно и, оттолкнувшись от него, как в гопаке, выскакивал из воды, а ты, отделившись от меня, что душа перед смертью, парила вверх, но затем, опомнившись, вочеловечившись, изъяс из себя протяжный звук «и-и-и-и-и-и», — так взрослые изображают детские звуки, подделываясь под ребячливость, хотя за ней не стоит ни свободы, ни воли, замирала на мгновение в воздухе и, сложив вытянутые руки перед собой, падала в воду — я с нетерпением ждал, пока твоя голова покажется из хлористых белесых взбрыков, чтобы побыстрее оттащить тебя обратно к столпу, потому что позади нас — или впереди? — всё путалось, — теребя воду, высоко задрав голову, плыла какая-то матрона, которой претили наши игры, вообще всякие игры, ибо для нее правильность означала скуку, и дряблость ее лица была лишним, если не окончательным удостоверением ее правоты и ее скуки, и, проплывая мимо нас, она недовольно морщилась, не потому что твой прыжок взбеленил воду вокруг нее, а потому что она боялась утратить себя, не поступи так, как было свойственно ее правильной и праведной правоте.

Губка исходила слюнями бешенства, в раскрытое кухонное окно шли звуки шуршавших машин, медленно двигавшихся по нашему переулку, и изредка любопытные головы вставали на жестяной козырек

первого этажа, уже плотно вошедшего в плоть города, а может быть, никогда не бывшего первым этажом, а лишь подкопом, послереволюционной пристройкой, как наша квартира, сделанная из арки, заложенная по торцу тройной кладкой кирпичей — тычками и ложками, — и говорили: «Шторы-то на окна нужно вешать», — не так правильно, и не всегда говорили, по большей части прыскали, и их смех мешался в тебе с презрением к ним, и голова, казалось, вмещала так много, что нелепым представлялось, будто в ней соседствуют звуки и мысли: презрение к смеющимся прохожим и нечаянно горделивая любовь к арочным потолкам, потому как гостям ты непременно рассказывала о происхождении дома, показывала выемки в стенной кладке, где, по твоему уверению, держались штыри ворот, рука скользила на плакат с изображением газетного киоска в духе Баухауса, и, глядя на него, я думал, что это рука ребенка скользит и перемешивает выдранные из кубика Рубика цветные отделения, напичивает их одно на другое, и мне было отчего-то стыдно за простоту надписей на немецком языке, шедших по верху киоска, за их обыденность, что ли, так как подобное «сумасшедшее» (это твое слово) сооружение должно было нести на себе какие-то необыкновенные надписи, так же как в человеке, которого мы считали выдающимся композитором, нас внезапно отвращает запах изо рта, или незнание, пускай преодолеваемое, столицы Ирландии. Ду-ду-ду-ду — смеситель разрывало, а ты продолжала говорить, несмотря на любопытство, выдаваемое или не выдаваемое гостем, была в тебе не столько

напористость, сколько самозабвение собственного хотения — волистость, придававшая чертам твоего лица какую-то жесткость — или, как знать? — эта жесткость была следствием твоей любви к женщинам, потому что никого из мужчин, даже меня... и срывалось, и пело, и пенилось, и помытые тарелки, серая — неизбежно моя, если пододеяльник, то, наоборот, цветастый, одноцветный ты оставляла себе, и наволочка под стать ему рябая, мы даже обедали одно время раздельно — и то, что я покупал тебе, не ел сам и гостям тоже предлагал что-нибудь из своего, не работала вытяжка, из нее капало, казалось, что стоит снять решетку раструбка, как оттуда вывалится мертвая крыса, или клопы — несметно-неимоверные, — их запах переспелой малины, вездесущсть этого запаха, как сейчас, когда я пытаюсь смыть со всего, что попадает на глаза, твои пятна — и пятна, которые ты показывала мне на кирпичном здании напротив под самым щипцом и говорила: «Закат!» — на что я отвечал: «Так какой же это закат? Еще и восьми часов нет! А закат теперь в десять!» — ты говорила: «Все равно», — и обнимала меня, и мы смотрели на явление солнца, полосующего надвое кирпичный барак, стоящий за колокольной восемнадцатого века, из второго яруса которой росла чахлая березка, края оконных проемов обнажились до кирпичей, а сама она казалась несущественным, безвкусным довеском к телу церкви — обыкновенному четверику из времен, когда князь, имени которого ты не хотела запомнить, держал здесь лошадей, и они паслись вдоль берегов речки, которая так и называлась Речка и которую

императрица спустя пятьдесят лет после строительства колокольни указала взять в трубу, и так она текла под нами, когда мы обнимались, глядя на исходе июня на дом причта, и под нами зрело, расправляло ломкие хитиновые члены комарье. Я включал в розетку фумигатор с прикрученной к нему изнизу бутылью, будто чернильницей с зелеными чернилами, ты называла его «комарилка», и думал о родстве молнии и дыма в латинском языке, которое не умел объяснить, а за спальным окном — за другим окном, напротив кухонного, — виднелся край деревянного холодильника, который здешние проводники приезжих считали за диковинку и, окружив себя любопытными, точно ликторами, выкрикивали в прилепившийся к щеке усилитель шума: «В середине девятнадцатого века именно так и хранили снесь. В деревянных ящиках, что крепились на чугунных кронштейнах под окнами на том месте, где укорачивался жестяной отлив», — и приезжие дивились, и дворовые кошки прятались от громких звуков под машинами, и, оторвавшись вниманием от рассказа, я сам считал себя даровым добавлением к прилегающему, чем-то вроде конфет в огромных пиалах, что стоят на столе в конторе, и эта сущая безделица кажется не проявлением щедрости, а загодя рассчитанной милостью, которая заранее окупилась за счет первых расставшихся с деньгами — так и у нас на кухне, под столешницей, на полке-выемке стояла тряпичная коробка, в которой хранились мои сладости, и, когда я предлагал ее гостям, во мне была радость дарения, а в тебе радость того, что ты видишь воплощение своих детских грез,

со временем — года через два — мне стало казаться, что и я в детстве мечтал об этой коробке с конфетами, где большая часть отводилась арахисовой разновидности, потом в ней лежало что-то вековое, вроде халвы в шоколаде, что липла к упаковке, и потому ее было неудобно и невкусно есть, вафельные конфеты — красно-белые и хрустко-недорогие, и теперь ведь ничего не останется от них, потому как всё распалось, как время, как это мгновение, которое мне не удалось собрать заново, кажется, я что-то сделал неправильно, когда я смотрю на кирпичные белые стены, на яблоки, написанные на холсте друзьями твоих родителей, и лишь через четыре года — и то по твоей указке — я понимаю, что они значат собой, но и до сих пор окончательно не верю в то, что одно яблоко представляет собой идеальный прообраз другого, отнюдь не затхло-караваджевского, а обыкновенного яблока с прилавка — и купи мне, будь добр, шпинату, затем огурцов, лосося фунт, ветчину, грудинку на заморозку, испанский паштет, малиновое варенье, не то, что в прошлый раз, — подороже, без лимонной кислоты, и грушевый конфитюр — как можно больше! — питьевой йогурт и суфле-сырки в картонных упаковках, на которых можно прочесть, как я тебя полюбила, а может быть, и нет — не за твои руки, не за голос — картаво-пряный, не голос ведь меня брал тогда, когда я почти сказала «да» твоему предшественнику и оставила у себя кольцо, но кольцо потерялось, я приняла это за знак, однако за больший знак я сочла страх — как сейчас, — и эта любовь не была бегством от другой любви, эта любовь была попыт-

кой приблизиться к тому, что называлось «семья», ты был таким большим, медвежьим, когда прислонил меня к белым кирпичам у того места, где теперь стоит наш выездной чемодан, а за ним между плинтусом и холодильником лежат ракетки для бадминтона, взятые в чехол, пара воланов: один перьевой со сломанными остями — гусиными или кого помельче? — другой — из полиуретана, и рыжая кожаная сумка, в которую мы собираем пластик, упаковки тетрапак, жестяные крышки из-под банок с вареньем, и раз в месяц, если не чаще, ходим напротив Андроникова сдавать мусор, рассовывая его в безымянные, что головы миног, отверстия, робко касаясь черных резиновых шлиц — четверка, пятерка, шестерка, — и этот мусор сох в сушильнице верхнего шкафа, изогнутой, как волюта, напомиравшей мне каждый раз тебя, потому как я люблю конструктивизм, а ты любишь — то ли по недостатку воображения, то ли от боязни времени — барокко.

Как на город, в котором ты никогда больше не окажешься, я смотрел по сторонам, и этот пространственный клочок, вся наша арка площадью 33 квадратных метра, включая спальню, кухню-зал, туалетную комнату, прихожую с двумя ступенями, кота по кличке Ясон, тебя и меня, разрасталась от чувства утраты — как Вселенная от Большого взрыва, — и, как бы я ни тянулся рукой вослед убегающему пространству, белым кирпичным стенам, плюшевому гусю по имени Гусь, которого ты извлекла из напольной сетки в лондонском супермаркете, где он был обозначен как «игрушка для собаки»,

и по каком-то вздорном сострадании к вещам, которые обречены утратить собственную сущность, ты поименовала его и сказала: «Я обещаю, что ты увидишь все великие реки и моря, пойдем со мной», — купленный за пару фунтов стерлингов, этот гусь перенес с десятков перелетов, увидел Финский залив, Босфор, Па-де-Кале, закованный во льды Стокгольм и еще сотню мест, которые я не назову, потому как воздух вокруг меня разбежался с большей скоростью, чем я даже успевал помыслить те места, в которых гусь побывал, и он отстоял от них дальше, чем от меня, и от этих мест скопом еще дальше, протяни руку к нему, я бы не достиг и полки, на которой он сидел, а лишь ощутил бы страшную бесконечность пустоты разошедшегося по швам пространства. И пожелай я перечислить все вещи, расположенные или располагавшиеся на 33 квадратных метрах нашего дома, мне бы понадобились дни воспоминаний и тысячи страниц для записи, и все равно я бы что-нибудь упустил и утратил бы что-нибудь важное, повлиявшее на нас, или, наоборот, совершенно неважное, что, сложившись вместе с другими упущенными воспоминаниями, не просто изменило бы наш облик в памяти, а действительно изменило наши прошлые поступки и тем более их толкование, и, двигаясь в вязкости, перебирая руками по столешнице вокруг раковины, крутя из стороны в сторону смеситель, я наконец добрался до сложенной четвертиной рыжей вафельной тряпки и стал вытирать воду вокруг себя, потом перешел на стены, ощутил их проходские неровности, даже под матерчатым куском, и на мгновение, с мыслью о том,

что мы жили в пещере, но так и не вышли к солнцу, кухня вдруг собралась, и я увидел в нише над собой два стеклянных фужера, а между ними — очередная картина твоих знакомцев — абстрактная женщина с французским носом, вполне возможно, ты, но ты, которую ты знать не хотела, а с краю коробка с пустой бутылкой армянского коньяка, не выпитого, но выдохшегося еще в то время, когда мы были с тобой незнакомы, когда твоя судьба могла повернуться по-другому, и эти пятна выступили бы на чужих руках, и ты сказала, когда утратила его, вполне холодно и трезво: «Больше никаких детей», — и ящик с засеками от когтей по краю, в который ты собирала детские вещи, не в те недели, что узнала о беременности, а в годы прежде, вдруг опорожнился, я заметил это во время уборки, когда отодвинул его, и чувство обиды за бездетность, чувство несправедливости от того, что мы проклятая смоква, вдруг пригвоздило меня к месту с тряпкой в руках — как тогда — по прошествии двух лет я отмывал от кухонных филенок пятна, мыл посуду, скопившуюся за недели, — и плита, стоило взглянуть на нее, говорила со мной разводами, на ней было что-то написано, как сверху на алюминевом раструбе вытяжки, — разноцветными буквами на магнитах размером с крупную клубнику — AKIRU — и я спросил, что это значит, ты сказала, неважно, все равно ты не поймешь, и странная боль от отсутствия во мне всей твоей жизни полоснула место сердца, и подумалось: а ведь мы знакомимся с осколками людей, женимся на них, заводим от них детей, и никому не дано восстановить облик дорогой

нам женщины, и что любовь и есть восстановление полностью утраченного от долготы времени облика — единственно верного — пускай и в другом человеке — нет! — он не знал, что такое любовь, его любовь сводилась к подсчетам выпитого и съеденного, к тому, чтобы всегда холодильник был полон, как будто он не обращал внимание на то, что суть холодильника, в отличие от человека, в его наружности, чтобы я была постоянно сыта, всё его чувство сводилось к филистерской безопасности, даже удивительно, что настолько умный человек мог оказаться таким обывателем до мозга костей, как будто ум даже от глупости не спасает, не говоря о поражении, и, взглянув на меня, пересчитав яйца, он спросил: «Купить еще десяток?» — и хлебцы пели, и я хотела быть духом, а он тянул меня вниз, со своей обыденной сытостью, набитыми животами, мне вообще казалось изъясном, что я ем, — не потому что я становлюсь толстой или некрасивой, а потому что человек — дух, и только в этом его спасение, и даже kota, которого я однажды принесла домой, он не принял: ходил, напыжившись, с Ясоном, не отгонял его от хилого тела, и, когда тот умер, по-другому просто быть не могло, — он плакал громче меня, осознав вдруг, насколько он лишен любви ко всякой страдающей твари, поняв, что чувствует любовь лишь тогда, когда теряет ее, как и всякий не-дух.

Я сдала его плоть в крематорий, а через неделю вернулась домой с жестяной аляповатой банкой в руках, обклеенной черной бумагой с золотыми узорами, банка-губа была запечатана сверху, и к ней

крепилось лакированное удостоверение о кремации, предполагаемый возраст кота, мое имя — подлинное, и его имя, данное ему за две недели до смерти, — Коляска, но мы не вывезли его, как ни старались, и потом, задержав слезы, я просила: пойдём развеём его прах над рекой, — на что он сказал: плоть должна идти к плоти, персть — к персти, и уверил, что место для развеивания праха мы обязательно выберем, а пока пускай он постоит рядом с кроватью — с той стороны, с которой он спал, и когда я передавала ему банку, мне показалось, что я слышу, как внутри нее подрагивают зубы, и на мгновение представилось, что он сгорел не полностью и что горел живым, но он так плакал перед смертью — обыкновенный дворовый кот, лишь за две недели до смерти обретший дом, первый свой дом, потому как не может не обрести следующий, — что сомнений не оставалось: он умер по-настоящему, и так банка с пеплом, с остатками зубов и костей Коляски стояла на нижней полке высокого шкафа под изгиб потолка, и мы все никак не могли найти время много лет, лишь за неделю до отъезда в другой дом — далеко-далеко, мы наконец развеяли его прах, и он плакал громче меня, плакал, в отличие от меня, потому что я выплакала все свои слезы задолго до, — и в усадьбе Найденова — там сейчас больница, а со двора господского дома — самые некрасивые бронзовые львы, которые можно увидеть в обеих столицах, — мы развеяли его прах под кленом, на солнечном месте, потому как я нашла его недалеко от Воронцова Поля на солнце, он вышел на него, готовый умереть, а я продлила ему

жизнь на некоторое время, но вывезти... вывезти... и я ему говорила, что у всех в жизни должен найтись тот, кто пожалеет его, пускай его жизнь сплошное несчастье, но обязательно найдется сострадающий, который накормит и приютит, и обязательно всякое живое создание обретет свой дом, пускай это случится слишком поздно, но действие любви, которое это создание испытает на себе, превзойдет все страдания, испытанные им прежде, потому что по-иному не может быть, потому что все мы достойны любви; так мы стояли на пригорке у высокого клена, стараясь развеивать равномерно прах перед ним, и твои слезы мешались с прахом кота, которого ты не любил при жизни, а по-настоящему полюбил — даже странно, отчего так? — лишь когда тот умер, был слышен поток машин, идущих вдоль Яузы, на скамье сидел ветхий старик, у облупившейся, полусгнившей беседки стояли влюбленные: рука парня расстегнула неподатливый бюстгальтер, случилась заминка, Коляске здесь должно быть хорошо, Коляска обрел если не покой, то пристанище, и дух его — я говорила тебе, а ты рыдал, — дух его уже не здесь, и не нужно тревожить то, что давно стало другим созданием. Тогда — на мгновение — я вспомнила, почему полюбила тебя, как ты смотрел на меня — прежде знакомства — съедал взглядом, как будто говорил, что если полюбишь, то намертво, раз и навсегда, и меня захватила не сила твоего чувства, его тогда еще не было, не его глубина, а отчаянность — как сейчас, ты стоял передо мной и плакал, потому как не боялся быть ребенком, не боялся показаться женственным или слабым,

признавая свою нелюбовь, спрашивая на обратной дороге: а что, если, что-если-я-без-тебя — через месяц, когда тебя не будет со мной, поступлю неправильно — и неважно, с каким живым созданием, вот ты говоришь, что Коляска был послан тебе, но что, если я не смогу разглядеть посланное мне создание и поступлю жестоко? — что, если я вообще не способен любить? — что-если... тише-тише, посылается лишь то, что посылается, и мы все люди: слабые, жестокие и неспособные отличить ласточек от стрижей, хотя на полке над прахом Коляски стоял справочник-определитель птиц, который при уходе я оставил тебе — или твоим будущим детям — или просто любовникам, как и две сотни томов, что были в моей библиотеке, но сплелись с твоими книгами так, что я подумал: книги наши сплелись так прочно, что их невозможно разлепить, что же не так с нашей плотью? — осталась книга по египетскому искусству, которую я так и не прочитал — и, честно говоря, я слабо себе представляю, в каких обстоятельствах обращаться к египетскому искусству, потому что раньше я покупал книги, исходя из любопытства и совершенной, хотя не полностью, неподходящести их ко мне, так появился томик тибетской поэзии времен, соответствующих танским, проповеди Экхарта, биография Штрогейма — к чему она мне? — даосские трактаты о бессмертии, какая-то из Вед на санскрите и драмы Леси Украинки на украинском же, и, глядя на всё это разнообразие книг — стирай пыль хоть каждый день — на второй полке улитка из спирали чугуна, на третьей — раскрытая открытка, вставленная между книг,

на ней изображен нахохлившийся снегирь, я думаю: это всё я бы без промедления бросил в костер воскресения Коляски, надеюсь, ему не было одиноко там внизу — на последней полке — без соседства с санскритом и украинским, без всех этих тягот человеческого духа, которые призваны сохранить ему жизнь, оставить хоть какое-то послевкусие бессмертия, но оставляют лишь горечь, как и мысли о сыне, которого у нас так никогда и не было.

Помнишь, мы увидели его на поэтическом вечере в доме Брюсова? на его седые — прежде времени — волосы, обыкновение говорить чуть-чуть в нос, аристократичность профиля и скульптурность облика — с такого лепят страждущих — я сразу обратила внимание, да и стихи, которые он читал там, были лучшими, и вел он себя так, как будто пространство принадлежало ему, теперь дело было за временем, и звали его Георгий, и было ему под сорок, и был он крупный московский поэт, вхожий и невхожий одновременно, потом в Гнездиновском я чудом отыскала книжку его стихов, отмечала красным карандашом понравившиеся места, а еще через три года мы познакомились с ним лично, он пришел к нам домой, говорил об Италии, о девушке, которая была младше его на четверть века, о том, как они из Болоньи ездили по Романье и дальше на юг — в Тоскану и Умбрию — и, разумеется, они расстались, он был пьян и голоден, готовил омлет по-турецки, перчил его сверх меры, и многоглазое нечто с порванным ртом, с вырванными ноздрями смотрело на меня со сковородки, и он смотрел на меня, как будто я должна была стать его следующей, а ты пере-